

Миф о русских в латышской литературе

Быт и культура, характер русских в восприятии латышских литераторов

Борис Инфантьев

В 1942 году в дни гитлеровской оккупации в книжном магазине Хольцнера в Риге я приобрел довольно увесистую книгу с весьма интригующим названием «Миф о немцах в славянской словесности». В предисловии было сказано: «Напиши такую книгу славянин в Германии — его тут же бы расстреляли».

Но рукопись этой книги создана немецким офицером, отдавшим свою жизнь за фюрера, поэтому книгу решено было издать.

С той поры я начал обращать внимание на то, как много о русских сказано и в литературе, и в латышском фольклоре.

Сразу надо оговориться. Если славяне о немцах и в фольклоре, и в литературе, и даже в изобразительном искусстве говорили преимущественно плохое (или автор книги задался целью собирать только плохое?), то о латышском фольклоре и литературе этого сказать нельзя: критические нотки усиливаются лишь ближе к нашему времени.

Так было положено начало этой книге.

Многосложные политические перипетии в Прибалтийском крае нередко приводили латышей, в том числе и архитекторов душ человеческих — поэтов и прозаиков, журналистов и мемуаристов, в разные регионы России преимущественно в качестве домашних учителей, управляющих имениями, инженерами на сибирские заводы или, вместе с российской армией, русскими офицерами и солдатами к победоносным походам и в Париж и Берлин.

Было это и в годы первого народного пробуждения, во время Младолатышского движения, в 60-е–80-е гг. XIX века. Это было тогда, когда вожди и рядовые национального пробуждения поддержку своим стремлениям и защиту от всемогущих в те времена остзейских баронов находили у славянофилов и панславистов Петербурга и Москвы. В годы

спада Первой русской революции (1906—1907 гг.), когда многие латыши, преимущественно деятели культурного фронта — то ли активные революционеры, то ли сочувствующие, вынуждены были спасаться в российской глубинке от преследователей карательных экспедиций («черной сотни») под водительством царских жандармов, среди которых были не одни остзейские бароны. В годы Брусиловского прорыва и победоносного продвижения царской армии... Где только не встречаем латышских писателей.

В книгах латышских писателей 20-х и 30-х гг. появились воспоминания о прошлом, о котором только теперь стало возможно писать. К примеру, о русификации конца XIX — начала XX века, а также бесконечные воспоминания тех, кому приходилось знакомиться со всеми красотами русской революции и гражданской войны, зарисовки быта, жизни, характера тех русских, которые теперь живут в Латвии вместе с коренной нацией. Только в эти годы появляются сравнительно многочисленные зарисовки не только жизни латвийских староверов, но и повествования, некоторые весьма обширные и обстоятельные, а также образы русских эмигрантов, которые играют весьма важную роль и в экономической, и в политической, и в культурной жизни Латвии.

Контакты с Советским Союзом не прекращаются и в мемуарах деятелей латышской культуры: появляются уникальные повествования о жизни в Советском Союзе, которые так и просятся быть переведенными на русский язык, что стало бы ценным вкладом в непредвзятые суждения о загадочном коммунистическом полувековии. Где только латышам не приходилось побывать: и в новгородских, и в псковских провинциях, и в подмосковных монастырях (цикл зарисовок посвящен благо-

дарному знакомству латышей во время эмиграции с православием!), и в сибирских просторах, и в Монголии — в погоне за спрятанными бриллиантами.

«Страшный» 1940-й год положил начало делению латышских писателей на советских и антисоветских. Образ русского при этом делении, как и следовало полагать, будет диаметрально противоположным. Среди русских коммунистов в латышской литературе можно найти предателей, шпионов, морально разложившихся персонажей. И антисоветские (преимущественно американские) писатели нередко делают оговорки, показывая, к примеру, причины, приведшие война Второй мировой войны к ожесточению.

Новый виток в образе русского или, вернее, теперь уже русскоговорящего появился вместе с независимостью Латвии, с борьбой национального Народного фронта с Интерфронтом.

В Латвии появляются уникальные (ничего подобного мне не удалось найти!) телевизионные сериалы, где не только обязательно присутствие русских (и не всегда они играют отрицательную роль, «разлагающую латышское общество»!), но причем эти персонажи (их играют русскоязычные актеры) говорят на изысканном, образцовом русском языке (с латышами они общаются по-латышски).

Изображение русского и русских в литературе латышей (не обязательно только на латышском языке!) можно начинать с Генриха Латвийского (XIII век!), в какой-то мере отразившего литературные тенденции своего времени. Индрикис нелестно характеризует первого русского в Ливонии, бывшего псковского князя Владимира Мстиславовича, тогда Аутинского фогта и свояка епископа Альберта: «Он жнет там, где не сеял».

Индрикис дает и общую характеристику русскому народу, исходя из ливонских интересов: «Русские после обильной еды любят поспать, тогда лучше всего на них нападать».

Подобные характеристики и сведения о русских, надо полагать, нетрудно отыскать и в последующих хрониках, а также в оставленных свидетельствах современников бурных событий тех лет эпохи Ливонской, первой и второй Северных войн. Но это задача будущих исследователей.

В серии этих высказываний мы можем напомнить лишь первое свидетельство о русских на латышском языке. Это проповедь Кур-

ляндского суперинтенданта, великого ученого Манцелиуса (1593–1654) по поводу избавления Курляндии от «полчищ московитов».

Сведения о русских, о российской государственности находим и в первой латышской энциклопедии Готгарда Фридриха Стендера (1714–1796) «Augstās gudrības grāmata» («Книга высокой мудрости», 1774), где русская государственность начинается с Чингисхана.

Подлинный поток информации о русских начинается с середины XIX века. Православный священник Янис Лицис (1833–1905) из крестьянского семейства латышей средней Лифляндии, которые в 40-е гг. XIX века массово решили перейти в православие и подвергались за то жестокой репрессии со стороны немецких баронов и лютеранских пасторов. Став одним из первых учеников Рижской православной школы и Рижской духовной семинарии, он выступает на страницах аксаковского «Дня» под псевдонимом Йостс Виесулис. А в самаринских «Окраинах России» под псевдонимом Индрикиса Страумите не перестает восхищаться проживающими в Латвии русскими солдатами, так много рассказывающими латышам о великой Российской державе, миролюбивом русском народе, царе-батюшке, который на пасху христосует с любым мужиком; русских купцах, перед которыми не нужно шапки ломать, как перед немецкими, и целовать им руку; русском духовенстве, так хорошо понимающем чаяния и ожидания латышей.

В 70-е годы своих земляков с русскими знакомит в особых, изданных для народа, весьма обстоятельных брошюрах просветитель своих земляков Фрицис Бривземник (1846–1907), рассказывая о жизни и деятельности патриарха Никона (1878) и Михаила Ломоносова (1874), простых людей из народа, которые стали первыми людьми в государстве. Тем самым Бривземник убеждает своих соотечественников, что и для простых латышских крестьян путь в «большие люди» не заказан.

Примерно в то же время Биргер Екаб (1871–1966) в своем романе «Prāvesta Glika audžumeita» («Воспитанница пастора Глюка», 1939) в размышлениях Марты Скавронской перед принятием ею православия вкладывает в ее рассуждение обстоятельное сопоставление православия с лютеранством.

Тему православия среди русских и латышей, православного духовенства и русских семинаристов в их взаимоотношениях с латы-

шами детально анализирует в своем романе «Бурсаки» (1914) Павел Грузна (1878–1950).

«Дела давно минувших лет, преданья старины глубокой», а именно события 40-х годов, Бебрского восстания и жестокой расправы баронов с латышскими крестьянами (сквозь строй прогоняли русские солдаты!) воспроизводит Рутку Тевс (Арвед Микельсон (1886–1961) в романе «Latvietis un viņa Kungs» («Латыш и его господин», 1926).

Но примечательные для нас русские появляются несколько позже в Риге, где спасаются выжившие после экзекуции латышские бунтовщики. Здесь они находят убежище в доме князя Стрельнова, бывшего декабриста, и его верного крепостного Ивана Трофимова, который в Риге стал именитым купцом и ни за что не хотел получить от своего господина вольную.

К этой старейшей группе латышских писателей можно отнести и Андрея Пумпура (1841–1902), который в своих воспоминаниях об участии в освободительной сербской войне в качестве офицера царской армии тепло и уважительно рассказывает о своих однополчаных и об Иване Аксакове, по чьей инициативе латышский поэт стал освободителем славян от турок.

Без русских персонажей не обходятся и такие латышские классики как Янис Порук (1871–1911) и Рудольф Блауманис (1861–1908).

Порук сюжетом своих рассказов избирает идиллическое пребывание в Риге и инвалидов царской армии, и любовные взаимоотношения работников судебной системы, которые в Латвии вершат свое правосудие, даже с трудом произнося латышские фамилии подсудимых. Сострадание Порука вызывает рассказ кучера, отвозящего писателя к другу, управляющему имением, в которое помещик переселил русских крестьян из российской глубинки. Причем кучер, по рассказу писателя, до сих пор не женат — на избраннице помещик жениться не позволяет, а велит взять в жены кухарку, у которой «от кухонного жару глаза слезятся».

Подлинным психологизмом проникнут рассказ Порука «Uz laukiem» («В деревню»). Речь идет о средней руки петербургском чиновнике, женившемся на своей прислуге-латышке. Тем самым он поставил себя вне того круга, в котором до того вращался. Но самое главное в том, что хотя с женой мир да лад, появились некоторые неудобства: с детьми он должен заниматься сам — уровень образова-

ния жены недостаточно высок. На предложение сходить в театр жена отвечает, мол, лучше отложить деньги на черный день. Дети и жена бесконечно радуются поездке в деревню к ее родным. А сам чиновник все время чувствует неудовольствия: то кучер запрашивает чересчур много денег, то очень душно, то начинаются размышления о той скуке, на которую он будет обречен целые две недели.

У юмориста Рудольфа Блауманиса всего только одна юмореска, где выступали русские люди. Это рассказ «Скандал» о чрезвычайном происшествии на приморском курорте под Петербургом, населенном разноплеменным людом. Объектом смуты и конфликтов становится подброшенный китайскому негодянцу французской гувернанткой новорожденный ребенок, о судьбе которого дискутирует вся курортная публика, в том числе и высокопоставленные русские люди. Но только простые русские крестьяне готовы подкидыша взять себе на воспитание.

Русский Серебряный век персонально нашел свое отражение в романе Виктора Эглитиса (1877–1945) «Nenovēřšamie likteņi» («Неустранимые судьбы»). Латышский писатель весьма детально и поэтично, не без доли фантазии и юмора рассказывает о трех неделях, проведенных в Видземской глубинке вместе с Ремизовым и его супругой. После перевода фрагмента романа на русский язык и его публикации сын Ремизова воздал должное писателю: нигде еще его отец и особенно мать так верно не охарактеризованы, как в романе Эглитиса.

Виктор Эглитис не ограничивается упомянутым романом. Долгие предвоенные годы, путешествуя по России (Пенза, Киев, Москва, Петербург, Голицыно — Подмоскowie), он много наблюдал, размышлял над судьбами России и русских (не всегда в положительном смысле!). Виктор Эглитис критикует политическое устройство России, пренебрежительное, барское отношение к национальным культурам, литературе, искусству. Особенно много ценных материалов и суждений в книге «Latvietis Krievijā» («Латыш в России», 1920).

В небольшом фрагменте о петербургской «Башне» Вячеслава Иванова, его литературных собраниях и действиях в присутствии таких высокопоставленных лиц, как Распутин, повествует упоминавшийся Павел Грузна, на сей раз в романе «Jaunā strāva» («Новое течение», 1933–1934). К этой теме отнесен и рассказ

латышского поэта и драматурга тех лет Карлиса Екабсона (1879–1946) о посвящении его в «бакалавры декаданса» в Петербурге, в ивановской «Башне».

Подготовку и проведение революции 1905 года латыши осуществили без особого руководящего влияния русских (даже Горький был вроде стороннего наблюдателя и в латышской литературе как личность не отражен).

Зато разгром революции, карательные экспедиции, «Черная сотня» представлены в латышской литературе исчерпывающе. И, прежде всего, в романе «Ziemeļvejš», («Северный ветер», 1921) Андрея Упита (1877–1970) из его цикла «Робежниеки». Перед читателем проходят удручающие и потрясающие картины зверств карателей, возглавляемых, правда, местными остзейскими баронами, но практически творимые русскими солдатами и офицерами различных рангов («Черная сотня»). Трагично завершаются в составе «Черной сотни» судьбы русского полковника, монархиста и помещика, который, не в силах выдержать чинимого балтийскими баронами произвола и насилия, кончает жизнь самоубийством.

Разносторонне представлена жизнь и «героические» подвиги солдат и казаков, которые, безотказно выполняя волю остзейских баронов, чинят суд и расправу часто над совершенно неповинными людьми, за что принимают дары и всяческие награды озверевших баронов.

Примечательно и отношение латышских девушек к казакам и солдатам, с которыми они совсем не прочь пофлиртовать, а в некоторых случаях даже организовать временные семейные очаги.

Жертвой революции стал один из плодовитейших латышских писателей, оставивший исключительное количество разносюжетных и разножанровых материалов о русских людях того и последующих времен — Антон Аустриньш (1844–1934), который после спада революции вынужден был долгие годы странствовать по России, по Псковской и Новгородской губерниям, Москве, Петербургу, выезжать, как это делали тогда многие латыши-революционеры, за границу. Все это писатель изобразил в пространной эпопее под заглавием «Kaspars Glums» (1908), а также в многочисленных романах, статьях, сборниках рассказов.

В отличие от Виктора Эглитиса, Аустриньшу больше приходится восторгаться виденным и услышанным. Правда, ему не нравит-

ся хор в женском монастыре, но это скорее в связи с тем, что он в принципе не согласен с сохранением монахинями девственности. Но с латышскими переселенцами, с их сознанием своего превосходства перед русскими крестьянами Аустриньш вполне солидарен. Зато Петербург, Публичная библиотека, гении Серебряного века заставляют писателя низко и почтительно склониться.

Другой современник и друг Виктора Эглитиса — Волдемар Дамберг (1886–1960), также большой почитатель русских гениев Серебряного века, получив военно-инженерное образование, очутился на Уральском военном заводе, работая на котором, вынужден был тесно соприкоснуться со своеобразным слогом русского простонародья. Они жили давно прошедшими заветами предков, пользовались широко услугами гадалок и предсказательниц. Увлеченному ремизовскими идеями юноше подстать было наблюдать за местными чародеями и колдунами, не всегда действовавшими на благо людей. Разумеется, не только это стало содержанием пространного романа Дамберга «Gaitniecības ceļi» («Пути изгнания», 1922–1928) и романа «Karogu maiņa» («Смена флагов», 1945–1956).

Кажется, только он, Эдвард Вулф (1886–1919), может быть назван таким латышским писателем, в начальном творчестве которого совершенно не чувствуется, что перед вами латыш. Недаром он и писать-то начал на русском языке. И еще одно примечательное наблюдение. Его ранняя проза посвящена исключительно серо-печальной, скучной жизни где-то на российских захолустных полустанках и очень напоминает творчество Добычина. Хотя нет никаких указаний на то, что Вулф был знаком с творчеством этого гениального, затравленного советской мафией писателя.

Как уже говорилось, в ранних рассказах Вулфа — «Придорожник», «По пути» и других изображена серая, однообразная жизнь простых русских людей, лишенная не только всяких радостей, но и надежд. Здесь же, очевидно, следует назвать и популярного романиста Карлиса Зариньша (1889–1978) и его романы «Brāļu dēli» («Сыновья братьев», 1922) и «Pēterburgas stāsti» («Петербургские рассказы»), уже заглавие последнего указывает на то, что действие этого произведения происходит в России, и действующими лицами будут русские.

Как это ни странно, русификация кон-

ца XIX — начала XX века, широко представленная в латышском фольклоре, особенно в его не совсем приличной части, представлена всего лишь небольшой и довольно примитивной юмореской Антона Аустриньша и обстоятельным романом Павила Розитиса (1880–1937) «Valmieras puikas» («Валмиерские парни», 1936), где выведена когорта русификаторов, возглавляемая учителем Смирновым, прибывшим в Латвию из Казани и тщетно пытающимся приобрести расположение как учеников, так и своих коллег. В романе также выведен персонаж по имени Овчинников, который, кстати, возмущался, что латышское правительство не присудило ему пенсии за его «плодотворную» инспекторскую деятельность в царское время.

Русский воин Первой мировой — и солдат, и офицер — представлены в латышской литературе исключительно полно и многообразно. И здесь еще мы не находим той абсолютной дифференциации на советско-коммунистическую латышскую литературу и антикоммунистическую. Все же все три автора, которые на эту тему создавали высокохудожественные произведения, высоко оцененные критикой и историей литературы, единомыслием не отличались. Правда, и главный персонаж трилогии Карлиса Штралиса (1880–1970) «Karš» («Война», 1921–1929), — честно выполняет свой долг царского офицера. Однако тот с юношеский восторженный патриотизм, который неоднократно звучит из уст его молодых русских сослуживцев, его не касается.

Все время латышский офицер как бы наблюдает со стороны. И на самые различные события — и нерадостные, и счастливые, и ужасающие, и потрясающие подчеркнута эмоционально не реагирует. Более того, он даже позволил себе сделать критическое замечание своему молдавскому коллеге, не в меру демонстрирующему свой российский патриотизм.

Среди русских офицеров резко отрицательных образов нет. Есть старые, усталые офицеры, для которых семейные неурядицы важнее военных и фронтовых дел. Нет и подлинных предателей, карьеристов. Иное дело солдаты. Это серая, грозная, порой непостижимая сила. Среди них есть и симпатичные типы. Таким является безымянный Балагур, который и радостные, и трагические события встречает с постоянной шуткой. Люди они русские, глубоко верующие, и сцены панихи-

ды по убиенным превращаются в подлинную манифестацию религиозности.

В романе есть и сцены еврейских погромов, и рассказы о таких поступках русских солдат, по поводу которых даже сами русские офицеры высказывают недоумение.

Совершенно иными представлены русские солдаты-сибиряки и офицеры, на этот раз включая и высшие генеральские чины, в эпопее Александра Грина (1895–1941) «Dvēseļputeni» («Завихрение душ», 1933–1934). В отличие от штралевской «Войны», действие эпопеи Грина протекает на территории Латвии после сдачи немцам Курляндии. Постоянные поражения, неисчислимо огромные потери среди латышских стрелков, вызванные нежеланием русских генералов прислушиваться к разумным советам латышских командиров, потоки беженцев — все это настраивает на отрицательные суждения. Командующий сибирскими полками и латышскими стрелками помышляет только о своей карьере и ради нее готов жертвовать тысячами солдат и офицеров, особенно латышских.

Отрицательное отношение к сибирякам звучит не только от имени автора повествования, но и из уст стрелков разного ранга, с которыми сибирякам теперь приходилось бок о бок сражаться, делить пищу, вместе тосковать в связи с постоянными военными неудачами. И эта отрицательная характеристика сибиряков и как боевых товарищей, и как нерадивых воинов звучит не только в характеристиках Александра Грина. Куприн как военный корреспондент Прибалтийского фронта в одной из своих реляций приводит слова русского офицера, который расхваливает латышских солдат и порицает своих русичей.

Примечательно, что это обстоятельство отразил в своем художественном творчестве и Николай Тихонов, сражавшийся тогда же на земле латышей с немцами. В своем рассказе «Легкий завтрак» Николай Тихонов вывел образ именно такого командующего-карьериста.

В тему Первой мировой вписывается также миниатюра Карлиса Скалбе (1879–1945) «Kazaks» («Казак»), в которой латышский писатель, великий почитатель толстовского непротивления злу насилем, пытается примирить миролюбивую русскую философию с героическими подвигами казака, у которого при очередном убийстве немца только волосы немного приподнимаются.

Литературная жизнь независимой Латвии 20-х — 30-х гг. знаменуется бурным расцветом творческой и издательской деятельности. Только теперь уже упомянутый ранее Павел Розитис издает столь важный в контексте нашего исследования антирусификаторский роман. Только теперь издается эпопея Виктора Эглитиса о его странствиях по России «Latvietis Krievijā» («Латыш в России»), автобиографические эпопеи Антона Аустриньша, Волдемара Дамберга, «Война» Карлиса Штралиса. Прежде всего это воспоминания о былом, о пережитом в царской России во время мировой войны, революции, гражданской войны, в которую латыши были вовлечены, как свидетельствуют многочисленные издания, и как активные творцы, и как пострадавшие.

И в этом контексте следует упомянуть порядком забытого Эрнеста Арнима (Рунцис, 1888–1943) с его исключительно важным для нашего исследования романом в форме дневниковых записей «Mīlai noteiktie likteņi» («Для любви определенные судьбы», 1929).

Диву даешься, что ни латышские, ни русские киношники не ухватились за сюжет этой разносторонней книги. Из нее мы узнаем об излюбленном в Иркутске в 1918–1919 гг. развлечении светской молодежи, «охоте на лис», во время которой обязательно кого-либо из игроков нужно подстрелить, и фантастическое путешествие в Монголию двух «товарищей», не перестающих искать случая друг друга уничтожить, чтобы одному завладеть тайной спрятанных в Монголии брильянтов.

Но в контексте нашего исследования самым примечательным является жаркая любовь освобожденного Февральской революцией латышского политкаторжанина к иркутской актрисе Ивонне Райской. Актриса латышским брильянтам предпочитает сибирского миллионера-меховщика, а после его расстрела — высокого ранга чекиста (бывшего высокого ранга жандарма), с которым приезжает в Латвию, становится любовницей латвийского министра, который тут же ее снабжает гражданством. Ивонна начинает играть видную роль, организуя клуб кокаинистов, в котором собираются и видные представители русского, и латышского общества, в том числе и русские монархисты, которые собираются в Латвию на свою международную конференцию, где раскрывается их жульнически-бандитский характер. Но среди них есть и приличные люди, которые по-настоящему интересуются историей

Латвии, ее культурой и все свободное время просиживают в библиотеках или проводят в экскурсиях по Старой Риге.

Монархистов всех мастей, от претендентов на престол до мелких жуликов, правда не в Риге, а в Париже, изобразила в своем романе «Virpuļu durvīs» («В дверях завихрений», 1929) латышская писательница Озолия-Краузе (1890–1941), о таинственной жизни которой делались различные предположения. Латвию в романе представляет один цирковой клоун. Стиль и метод повествования этой писательницы настолько необычны, что не только затрудняют чтение самого романа, но оставляют многие эпизоды совсем непонятыми.

Зато роман Яниса Оша (1890–1937) приключенческого характера «Zelta drudzis» («Золотая лихорадка», 1931) ограничивается, как явствует заглавие, совместной погоней латышей и русских за сибирским золотом.

Иную группу публикаций этих лет представляют писатели, «смакующие» отрицательные стороны и явления победы коммунистического строя в России.

В этой связи следует прежде всего упомянуть Яниса Гресте (1876–1951), в воспоминаниях которого и деградация русского человека, и распад семейной жизни, и разброд в области образования и воспитания. Незабываемая картина: во время голода Гресте перекапывает убранный картофельное поле, чтобы найти картофелину. Двое русских крестьян — сын и отец, сидя на завалинке, иронически наблюдают за его работой, иногда даже плевком или концом сапога указывают на пропущенную картофелину...

Воспоминания «кающегося чекиста» Карлиса Лапиньша (1895–1942) в книге «Nemiera raaudze» («Беспокойное поколение», 1929) примечательны не только портретами и характеристиками Ленина, Сталина и других его коллег по штабу Троцкого, но и людей иного толка.

Лапиньшу было поручено обеспечить участие Шаляпина в гражданской панихиде одного из скончавшихся чекистов. Шаляпин было согласился, но когда увидел, какой нации усопший, наотрез отказался участвовать в церемонии, отправился на рынок и там целый день пел, за что благодарные мужички одарили его маслом, мукой, яйцами.

Особая, широко представленная тема латышской литературы 20-х — 30-х гг. — тема латгальских и рижских староверов. Пальму

первенства в деле ознакомления латышей с бытом и моралью людей, которые уже триста лет являются их соседями, завоевал Адольф Эрс (1833–1945).

Разбитной гармонист Гришка, завидный жених многих католических девушек, — чуть ли не обязательный персонаж многих рассказов писателя. Но особенно пространно описывается его бесподобная игра на гармонии в романе «Muižnieki» («Помещики»). А в рассказе «Svēta Antonija atgriešanās» («Возвращение святого Антония») — уже весь сюжет посвящен удивительному происшествию, когда наученный дьяволом завидный жених Игнат в последнюю минуту решается увезти не стоволенную и любимую им Таисию, а ее подружку — католичку Гелю. Только остроумие Гели позволяет устранить роковую и непоправимую ошибку.

Но все это цветочки. Ягодки еще впереди. Ягодки — это двухтомный полуавтобиографический роман «Zemes balsis» («Голоса земли») о большой любви, увы, так и не осуществленной из-за конфессиональных различий, между сыном богатого лесопромышленника Григория Агурьянова и облатышевшейся польско-литовской помещицей Валерии Ганской. Рассказывая о постоянных деловых и любовных контактах молодых людей и их родичей, автор создает целую энциклопедию староверской религии, морали, мировоззрения и эсхатологии, описывает подробнейшим образом староверский двор, детально рассказывая о каждой постройке, предмете мебели и одежды, пище, угощениях, увеселениях молодежи, даже о таких глобальных староверских событиях как «базар невест» на Режицком мосту и конные ристалища.

Янис Яунсудрабиньш (1877–1962) к староверам обращается всего один раз в своем романе «Jaunsaimnieks un velns» («Новохозяин и черт», 1933), но делает это не менее основательно, чем Эрс. Староверы, известные и прославленные на всю Латгалию строители Филимоновы — дед, отец, внук Ваня описаны весьма подробно: и внешность каждого, и одежда, а главное — сноровка и мастерство, особенно старшего Филимонова. Подробно расписаны характеры, особенно Ваня, который так полюбился на хуторе, что без него никто не мог обойтись. Он, самый рослый из всех староверов, постоянно был всем нужен и охотно всем помогал. Не обошел писатель и религиозных особенностей Филимоновых, их изоляцию в

приеме пищи: коров сам Ваня доил, брал особый огромный кувшин, строго следил за чистотой пищи, — староверские плотники ели отдельно от всех. Но их страсть к водке вопреки заветам предков и требованиям религии также не осталась незамеченной. Разгоряченные водкой родители так расходились, что Ване только с трудом удается их утомонить.

Небольшая, но симпатичная встреча с рижским старовером обнаруживается в книге Дзинтара Содума (1922–2008) «Pašu valstij audzināts» («Воспитанный для своего государства»). Упомянувшийся уже неоднократно Антон Аустриньш в своих многочисленных путешествиях по Латгалии не мог не сказать хотя бы несколько слов о староверах. В рассказе «Neievērots» («Незамеченный») повествуется и о гостеприимстве староверов, и их любознательности, и о предрассудках, и о суевериях, а в рассказе «Nakts Straujenos» («Ночь в Страуенах») — об обычных для староверов частых потасовках.

Янис Плаудис (1903–1952) в автобиографическом романе «Ložmetēnieku rota» («Рота пулеметчиков») с юмором рассказал, как в латвийской армии небезуспешно проходило обучение староверов латышскому языку. А Улдис Германис (1915–1997) в книге воспоминаний о своей военной службе рассказал о том, как извинялся перед двумя латгальскими парнями за своего коллегу, ультра националистически настроенного капрала «из народных учителей», гаркнувшего на парней, чтобы те прекратили горланить «Прекрасную Мурку».

В 2002 г. оказалось, что тема староверов в латышской литературе совсем не изжита. Паул Банковскис в романе «Секреты» рассказал о жизни нескольких поколений родственной ему староверской семьи, в которой было, судя по повествованию, больше трагических, чем радостных событий.

Одним из наиболее значимых оценок русских, при этом не только проживающих в Латвии эмигрантов, но и представителей Советской России, а что самое главное — подробнейшую информацию о жизни разных кругов Советской России, представил в одной из своих пяти книг «Sestā kolonna» («Шестая колонна») известный латвийский тенор Марис Ветра (1907–1965). Автор — сам уроженец Петербурга, помнит его величие. Теперь он с ужасом наблюдает разруху, обнищание, деградацию. Даже карандаша и бумаги нельзя купить. Что же касается людей... Сначала он никак не мог

понять, почему это ему постоянно напоминают: «Вам ничто не угрожает!» Но когда в следующий свой приезд он констатировал, что во всех инстанциях и структурах сидят новые люди, он понял, что значат эти роковые слова.

Государственные, политические, общественные преобразования Латвии в 1940 году еще не разграничили окончательно латышских писателей на коммунистических и антикоммунистических, как это произошло с началом Второй мировой войны, но в творчестве латышских писателей все же отразились по-разному.

Вилис Лацис (1904–1966) в своем романе «Vētra» («Буря», 1960) рассказывает, с каким восторгом и упоением передовая латышская молодежь стремится найти свое место в будущем государстве. Один из ведущих персонажей романа поступает сразу же в военное училище и не может нахвастаться в письмах сестре своими новыми товарищами — подлинными героями, которые штурмовали линию Маннергейма, отличными стрелками и лыжниками.

Писатель умеренно буржуазного толка Дзинтар Содум подчеркивает (и он — не единственное исключение в латышской буржуазно-демократической литературе!), что основная масса латышей встретила аннексию Латвии и вторжение советских войск без особого трагического волнения. В упоминавшейся уже книге «Воспитанный для своего государства» он передает восторженный рассказ советского бойца о своей службе, о том, что их взвод однажды (!) побывал в Большом театре, о том, как протекают праздничные демонстрации в Москве, на которых смертные удаиваются лицезреть любимого Сталина.

Совсем в иной тональности выполнены небольшие зарисовки первых впечатлений от вторгшихся в Ригу «монгольских» полчищ, в которых русских и не разглядишь в книге воспоминаний «Зеленые льды, синие горы» Аншлава Эглитиса автор несколькими фразами передает свой ужас и отвращение к армии захватчиков.

Вилис Лацис в своем романе «Поселок у моря» («Ciems pie jūras», 1954) пространно рассказывает, как происходило сближение латышских рыбаков с русской советской номенклатурой, которая теперь стремится укрепиться в Латвии на руководящих постах, а с другой стороны — сблизиться с перспективными представителями латышского трудового наро-

да. Русская советская номенклатура, особенно московская, не всегда соответствует в романе Лациса партийному и моральному эталону.

Гунар Яновскис (1916–1960) латышскую «перестройку» запечатлел в нескольких небольших рассказах, где повествует о несчастном латышском буржуе, которого советская власть лишила работы, средств существования, а он спасает маленькую дочку русского офицера, брошенную родителями в начале войны. В другом рассказе латышский писатель вместе со своим еврейским другом — екабпилским адвокатом, скорбит о его детях, ставших чекистами.

В пространной эпопее Яниса Судрабкална «Krievu tautai» («Русскому народу») с предельной ясностью сказано, что только русскому народу суждено было обуздать зарвавшегося врага человечества.

«Буря» Вилиса Лациса — подлинный апофеоз героя Великой Отечественной войны. Причем этими героями гордится не только Россия, но их подвиги повторяют и русские люди из Латышского гвардейского стрелкового полка. На Руси даже каждый колхозник — герой, он вилами отбрасывает пылающую бомбу от своего дома.

И еще одна примечательная черта русского воина: любой танкист, уничтожая немцев самыми различными способами на фронте, приехав домой на побывку, даже поросенка заколоть не отважится. Ежедневное уничтожение немцев не ожесточило советского человека, сохранило его человечность.

Иное о советском воине рассказывает Гунар Яновскис. Правда, пока события, изображенные в романе Ошкална «Bez ceļa» («Без пути»), касаются территории Латвии, особо изощренных зверств советских воинов-партизан по отношению к своим врагам мы не замечаем. Что касается русских воинов, то это по большей части разговор о военнопленных, которые сбегают от своих хозяев в партизаны к Ошкалну. Яновский больше рассказывает о тех партизанах, которые приходят к немцам с повинной, но среди них преобладают представители кавказских народностей, которым Россия скорее не мать, а мачеха.

Но стоит только советскому воину переступить германскую границу, как он становится зверем (Яновскис не замалчивает межнациональный характер Красной армии, но все же в обычном повествовании называется чаще всего русский). Специализация Яновскиса — в

описании зверств советских воинов в Германии: самые различные виды полового насилия, нередко связанные с убийством мужей и отцов, бросившихся защищать своих жен, дочерей. В изощренности полового садизма Яновский доходит до трудно представляемых, фантастических вариантов. К чести автора следует сказать, что он пытается пояснить причины такой озверелости. После одной из самых изощренных сексуальных пыток автор романа на нескольких страницах детально и эмоционально передает исповедь белорусского офицера, объясняющую причину его жестокости и зверств. И не менее детально Яновский передает рассказ офицера о его детстве и юности под немцами, когда на его глазах за нежелание открыть немцам, где партизаны спрятали мины, были вместе с другими женщинами села убиты мать и две сестры. Разумеется, не забывает Яновский и о роли Ильи Эренбурга, и Суркова в натравливании бойцов и офицеров на немцев.

Но нельзя сказать, что Яновский не делал попыток примирения. Вот у ямы, в которую свалены изнасилованные и убитые женщины, их мужья и дети, остановились несколько советских офицеров. О чем-то поговорили, сплюнули окурки, которые тут же растоптали носком сапога, и собираются уходить. Но почему-то остаются. Стоят. Потом один снимает шапку, второй, третий. Проходящий мимо пастор пристально смотрит на снявших шапки офицеров и, наконец, их благословляет.

Для демократа Яновского совершенно непонятно то барское пренебрежение офицеров к солдатам, которое так характерно было для Советской Армии. Вот офицер велит накрыть обеденный стол отдельно: он не собирается обедать вместе «с этим скотом». А вот офицер бьет сапогом солдата за то, что тот собрался полакомиться яблочком из немецкого сада. «Разве тому учил тебя «Краткий курс нашей партии»?»

Аккордные звуки романа — оплакивание судеб победителей, которые попадут в свои дома не скоро. Всех их ожидает Сибирь, ибо они видели Европу, убедились в том, что им все время вдали о голоде в Европе, о печальной жизни тамошнего пролетариата. И опять Дзинтар Содум, который на сей раз в ожидании переправы на лодке в Швецию оказался в Курляндском мешке и познакомился с партизанскими «батками», которые неоднократно навещали хутора местных жителей «в поисках

оружия», а на самом же деле — для пополнения средств пропитания своих банд.

Довольно пространные фрагменты в книге «Ceļam tiltu par jūru» («Мостим мост через море») — единственные свидетельства в латышской литературе о партизанах в Курляндском мешке, о взаимоотношениях власовцев.

Не менее примечательны сведения, которые оставил нам латышский шуцман с первых дней оккупации Латвии гитлеровцами, затем легионер и, наконец, профессор военной академии в Берлине Янис Зариньш. В трех томах под заглавием «Kāvu gadi» («Годы зарниц») он рассказал о своих прямых и косвенных контактах и с русскими военными, и со штатскими.

В Северной Латгалии каратели никак не могут войти в соприкосновение с партизанами: местный поп колокольным звоном партизан предупреждает о перемещениях карателей. Потом оказалось, что это был совсем не поп, а спущенный с парашютом чекист.

Нельзя сказать, чтобы Зариньш чувствовал себя в безопасности, когда один доставлял в немецкое командование целый полк сдавшихся бойцов Советской Армии. Сами военнопленные поддерживали во время этой эвакуации образцовый порядок, но где была гарантия, что среди них нет ни одного замаскированного политрука? Другой эпизод заключается в том, что сердобольный командир голодным военнопленным разрешил полакомиться арбузами, мимо поля которых он проходил. Результаты доброты командира: пленные намного задержали интенсивность передвижения, потому что приходилось останавливаться около каждой поросшей кустами и лесом местности. Третий эпизод весьма трагичен и заключается в том, что целый отряд военнопленных, которых немцы пригнали для строительства знаменитых Волховских укреплений, был немцами ликвидирован, что вызвало неодобрительное высказывание не только автора воспоминаний, не скрывавшего своих сетований по поводу жестокого поступка немцев. Говоря о своих русских коллегах-легионерах, автор воспоминаний осознает, что они русские, но по этому поводу не высказывает ни сомнений, ни порицаний. Так оно и должно быть, — очевидно, думал он. Что же касается мобилизации в легион староверов, не владевших латышским языком, он согласен с теми командирами, которые бесконечно рады тому, что староверы, не добравшись до места назначения, разбегаются.

Вот кого он невзлюбил всеми фибрами души своей, так это власовских офицеров, с которыми автору пришлось встретиться в Луте, в госпитале. Уже то обстоятельство, что их форма пошита из самого лучшего материала и должна была выглядеть, как форма царских офицеров, возбуждало зависть. Но самое главное — их разгульный образ жизни. Никто не ведал, чем болели эти молодчики, но в больницу, в свои палаты они приходили только в полночь или ранним утром с бутылками недопитого алкоголя и начинали им потчевать автора воспоминаний, к его великому неудовольствию. Походя, флиртовали с сестрами милосердия, неоднократно завершая флирт изнасилованием. Руководство госпиталя ничего с ними поделать не могло. Из Луги у них был прямой телефон с Берлином.

Что касается контактов с «цивильным» русским населением, то примечательно рассказанное Зариньшем событие, когда латышским legionерам пришлось спасать старух, прибежавших к ним и таким образом спасшихся от избиения немцами и верной смерти за то, что не называли мест, где партизаны спрятали мины. Латышские legionеры не только укрыли старух от немцев, но даже напоили и накормили их вкусными рыбными консервами, которые те отведали впервые. Они, оказывается, и не подозревали, что рыбные припасы существуют также в консервах. Но гораздо обстоятельнее и многословнее автор рассказывает о сексуальных контактах латышских шуцманов и legionеров с восточнославянскими женщинами разных возрастных групп, обличий и характеров. Автор пытается даже создать некий эстетико-моральный обзор поведения русских, белорусских и украинских красавиц. Правда, не все воспринимается с восторгом. Иногда он не сдерживается, чтобы не ужаснуться тому цинизму, с которым мать, например, распределяет, кто из их семьи, то есть она и каждая из ее двух дочерей, пойдет заниматься любовью, но при повторном посещении всегда эти вариации сознательно меняла.

К рассматриваемому периоду относятся также воспоминания Визмы Белшевицы (1931–2005) в книге «Bille turpina dzīvot» («Билле продолжает жить»). Воспоминания о том, на какие ухищрения пускалась она с матерью, чтобы с опасностью для собственной жизни попытаться подкормить изголодавшихся военнопленных, работавших на починке желез-

ной дороги, через которую обеим женщинам приходилось переходить не один раз в день.

Своеобразную проблему отношения восточнославянских военнопленных к латышскому языку в зависимости от отношения их к своим латышским хозяевам изобразил Гунар Приеде (1928–2000) в пьесе «Centrifūga» («Центрифуга»). Русский военнопленный влюблен в свою латышскую хозяйку, поэтому не только интенсивно учится этому языку, но любовные домогательства перемещенной в Латвию (после отступления немцев) белорусской девушки отвергает... по-латышски! В то же время украинский парень, ненавидящий своего латышского хозяина, не только пренебрегает латышским языком, но и убегает в партизаны.

Послевоенные (1950–1990) годы в Советской Латвии не богаты пригодными для нашего исследования источниками. Прежде всего следует упомянуть новый, на сей раз не безупречный в художественном, а главное, идеологическом отношении роман Вилиса Лациса «Uz jaunu krastu» («К новому берегу»), где доказывается, что без помощи русских латыши никогда бы в Латвии социализм не построили.

Более примечательным событием было издание романа-хроники Мартиньша Криевиньша (1909–1988) «Taurupes romāns» («Тайрупский роман», 1988). В романе рассказывается, как через все события конца XIX и XX вв. прошла жизнь в сибирском поселке, где преобладало латышское население, но где, разумеется, не было недостатка и в русском.

К сибирской послевоенной советской тематике следует отнести и рассказ Андриса Колберга (род. 1938) — «Sieviete laivā» («Женщина в лодке»).

Картина латышского художника «Женщина в лодке» обеспечила ее хозяевам, высланным в Сибирь, выживание в голодные годы войны.

Но подлинный памятник сибирским руссакам, встретившимся на пути высланных латышей и получивших кое-где поддержку и некоторую помощь, воздвиг Александр Пелецис (1920–1995) в сборнике рассказов и новелл «Sibīrijas grāmata» («Сибирская книга»).

Здесь и монахи упраздненного большевиками монастыря, решившие совместно продолжить подвиг безбрачия и смирения, и трагические персонажи, не переставая ищущие своих пропавших родичей. Но преобладают юмористических зарисовок, например, об одном начальствующем чекисте, который грозья-

щие ему неприятности соотносит с приснившимися ему образами Ленина, Крупской... — самое страшное несчастье предвещают увиденные во сне оба — и Ленин, и Крупская. ...Или о рижском зубном враче, своими рассказами о Риге, Париже соблазнившем охранявшую его чекистку и за это поплатившемся жизнью и своим половым органом, который по приказу высшего начальства в заспиртованном виде должен был стоять на подоконнике согрешившей чекистки, где он и стоял до тех пор, пока дежуривший фельдшер не выпил спирт...

Сибирскую тему, то есть сосуществование сибиряков с вывезенными латышами, затрагивает уже в более поздние годы, в годы независимой Латвии, и Валентин Екабсон в одной из своих пьес. Однако выведенные в пьесе подлость и звероподобность сибиряков настолько фантастичны, что противоречат их образу в многочисленных воспоминаниях, письмах увезенных в Сибирь латышей, публикуемых из номера в номер вот уже десятый год Агисом Скалбергом в журнале «Treji vārti» («Трое ворот»).

Рассматриваемые 50-е — 90-е гг. породили также своеобразный мотив для нашего исследования, до сих пор не затрагивавшийся, — о летгизации латвийских русичей. Иными словами, об обучении их латышскому языку. Андрис Вискна (1944–1986) в автобиографическом романе «Viss kārtībā» («Все в порядке») рассказал о своем коллеге по халтурному музицированию, уроженце городка Стренчи Мишке Владимирце. Этот самый Мишка Владимирцев, страстно желая поскорее усвоить латышский язык, создал даже свою теорию о причине возникновения в латышском языке долгих и кратких гласных: долгими гласными обозначаются великие люди, свершения, характеры; краткими гласными — малые.

Формирование второй Латвийской республики в 90-е гг. XX века, протекающее в острой борьбе латышей и русских за права и обязанности, не могло не найти своего отражения в латышской литературе.

И действительно, все претензии русскоязычных неграждан и латышские на них ответы находим в пьесе Валентина Екабсона «Septītā. Facēsija» («Седьмая. Фацеция»). Создавая свою пьесу, автор имел в виду чеховскую «Палату № 6». К общеприемлемым выводам, как и следовало ожидать, спорящие так и не приходили.

В свою очередь, Регина Эзера (1920–2002), всегда отличавшаяся чуткостью восприятия актуальной политической тенденции, соотносит теперешние события с семейными и любовными взаимоотношениями в своем романе «Rūķa ola» («Яйцо дракона»).

Характерна в этом отношении судьба Евгении Онегиной и ее мужа-латыша, который, разумеется, под влиянием своей супруги даже вместо латышской газеты стал почитать русскую. Политические события перевернули все вверх дном в их семье. Муж почувствовал себя латышом и пришел в неопишущий ужас, только теперь узнав, что его собственная жена не только не владеет латышским языком, но и не пытается это сделать. И этого еще мало. Супруга латыша-патриота становится активной интерфронтровкой, выступает на митингах.

Трагично завершился другой любовный сюжет о бывшем знатном трактористе, русском, и его бывшей сожительнице и бывшей знатной доярке. У них все в прошлом. И трудовые подвиги, и правительственные награды. Остается только вспоминать доблестное прошлое и потягивать из никогда не иссякаемой бутылочки... Но трактористу надоела его стареющая полюбовница. Скорее к той, в Елгаву. А предлог — его появившийся на волне всеобщего возрождения национализма горячий патриотизм, призывающий русского скорее вернуться на горячо любимую родину.

Решено — сделано. И вот напоследок выпитая бутылка — и блестящим топором убита «бесстыжая крыса, не стыдящаяся напоказ выставлять свое рыло». Но автобус, как в Латвии это обычно, не пришел, и знатный тракторист со всеми провожающими вынужден вернуться опять к той же самой бутылке и к тому же самому... топору! И этот возврат оказался судьбоносным. Этим же топором в ту роковую ночь знатный тракторист был убит, а знатная доярка повесилась.

По рассказу досужие киношники сняли фильм, в котором только намеченные писательницей «страсти-мордасти» доведены до совершенства. Как и положено, погибших любовников хоронят в общей могиле. Друзья на тракторе привозят полный набор съестного и выпивки. Поминки сблизжают и русских, и латышей, и начинается, как тому и положено быть, общее ликование: песни и пляски, в разгар которых выкристаллизовывается гениально-неумолимая мысль о том, что негоже чистокровную латышку хоронить в одной мо-

гиле с... русским. Трупы вырываются и перезахораниваются. В это время в фильме появляется делегация газеты «СМ Сегодня», чтобы заснять «дружбу народов Латвии», после чего на второй день следует заявление российского правительства «О преследовании русскоязычных в Латвии».

В 1990 г. молодой латышский писатель Эдвин Тауриньш (род. 1937) печатает удивительный рассказ «Kaučuka deguns jeb saprašānās sākums» («Каучуковый нос, или начало взаимопонимания»). Не менее удивительный стиль, особенности сверхэмоционального изложения от имени одного из героев повествования делают даже самый сюжет, не говоря уже об идейной направленности повествования и заключенных в репликах «подводных камней». Все же попытаемся здесь сказать, какие сногшибательные цели преследовал автор.

Группа заезжих разноплеменных рокеров, кичащихся своей единоплеменностью с Чеховым, Толстым и Пастернаком, решила на время найти пристанище для себя и своих «моторов» в небольшом поселке Яньстрельцев. Узнав о предстоящих празднованиях Иванова дня и праздника Лиго, на котором «будут есть пельмени», наши герои тут же решили отметить праздник повышенным опустошением бутылок с алкоголем и с последующим избиением первых попавшихся под руку наполненными гвоздями перчатками и цепями мотоциклов. По крайней мере, эти предметы — постоянный объект различного рода словесных упражнений автора.

Следует описание «экзекуции», во время которой главный погибает, а восточный юноша теряет свой каучуковый нос. Представлены в рассказе и латышские девушки, начиная с медсестры, по которой томится рокер, заканчивая другими двумя латышками, мечтающими о русских парнях, могущих их осчастливить.

90-е годы и первые 2000-е на латвийском телевидении ознаменовались, на мой взгляд, уникальными, не известными нигде, кроме Латвии, сериалами, в которых развитие действия происходит на двух языках — латышском и русском.

Как 70 лет тому назад меня информировал профессор Эрнст Блессе, в драматургической практике такое явление отмечалось только в старинной польской литературе, где паны говорили по-польски, а холопы — по-белорусски.

Первый сериал был показан в начале 90-х годов. Сюжет — довольно элементарная агитка. В квартире латышки-хозяйки (ей, кажется, принадлежит и дом, в котором находится ее квартира) живут, как это обычно в Риге, и русские, и латыши. Одна русская, уже не молодая, но и не старая бабенка, активная интерфронтовка, постоянно приходящая и уходящая с интерфронтовскими плакатами и лозунгами и говорящая, разумеется, только на русском языке, не прочь вечерние часы у себя коротать со старым латышом, охотно беседующим с интерфронтовкой на русском языке и о политике, и о повседневном быте. Но вот к русской квартирантке старого «рижского» типа, прекрасно владеющей латышским языком и охотно на нем разговаривающей, из Москвы приезжает сын, конечно же, латышским языком не владеющий, и со всеми поначалу говорящий только по-русски. Но вспыхнувшая горячая любовь к хозяйке заставляет его не только порвать со своей московской невестой, но скоростными методами овладеть латышским языком.

Сериал в свое время прошел незамеченным, не получив ни положительной, ни отрицательной оценки.

Иная судьба была уготована другому сериалу — «Likteņa līdumnieki» («Распахивающие судьбу»). Автор — Мара Свиге (род. 1936). В сериале показана судьба одного старого рода латышских усадебовладельцев, начиная с создания независимости Латвии и до наших дней.

И как это ни парадоксально, русская речь начинает звучать в латышской усадьбе в немецкое время. Это военнопленные, которые отданы в усадьбу для работы и пропитания. Русские военнопленные в этом сериале, на мой взгляд, изображены весьма правдиво, даже с некоторыми чертами симпатии. Они, конечно, понимают, что находятся в типичном хозяйстве кулаков, и в то же время несколько удивлены, что эти самые кулаки садятся за стол с ними — теперь батраками. Они с любовью вспоминают свою родину — Сибирь и в то же время понимают, что им, как предателям родины, возврата в жизнь нет. Но они не унывают. Один, лихой гармонист, даже не прочь показать латышам, как играют на гармошке на Руси. Он же не прочь позабавиться с польской батрачкой — благо с ней может стовориться и в прямом, и в переносном значении, хотя дома — любимая жена. Понемногу происходит взаимообучение языкам: хозяева начинают не только понимать все больше и больше русских

слов, но в разговорах с военнопленными их произносить. Усвоение же русскими латышского языка происходит гораздо туже. Один из них удивляется, что русскую «зиму» латыши называют так странно — «ziema», вместо того, чтобы удивляться идентичности этого и многих других русских и латышских слов.

Сцены в лесном партизанском лагере (их, правда, немного) проходят только на русском языке, хотя среди партизан есть и латыши. То же самое можно сказать и о райкоме, райисполкоме. Правда, в учреждениях и русские пытаются говорить на латышском языке.

И, наконец, целые серии кадров, где слышится только русская речь. Это сцены о Сибири, куда сослан бывший легионер Эдгар. Он в сибирских сценах говорит только по-русски, причем научился говорить так, что по речи его за инородца и не считаешь. И только рабочая хватка, трудолюбие, сознательность, порядочность и целомудрие являет в нем латыша в сравнении с сибиряками. Есть и среди них порядочные деловые русские люди из более ранних выселок, которые смогли в новых, неблагоприятных жизненных условиях стать благоуспевающими хозяевами или предпринимателями. И, наконец, в Советской Латвии — «помесь слона и лягушки». Тут уж не поймешь, кто на каком языке говорит. Для приехавшей из Сибири латышки разговаривать с мужем — нацменом приходится только по-русски. Местные жители предпочитают между собой говорить по-латышски. Вернувшийся из Сибири Эдгар успешно демонстрирует, что и в Сибири родного языка не забыл.

Совсем недавно по Первому каналу латвийского телевидения стали демонстрировать сериал «Bezprāta cena» («Цена безумия»), где русскому языку отведена, на мой взгляд, весьма скандальная идеологическая функция.

Небольшой преуспевающий городок неподалеку от моря. Тишь и латвийская благодать. Местная интеллигенция и предприниматели, в том числе и хозяева земельных и лесных участков — объекта бизнеса и спекуляции, позволяют местной интеллигенции вести безбедное времяпровождение за непрекращающимся коньячком и сексом. Поскольку обещано «переплюнуть» американские сериалы, никто никогда не знает, какие дети от каких мужей... В эту богохранимую латышскую идиллию вторгается русскоязычная пара — отец и дочь. Именно русскоязычная! Об этом свидетельствует их фамилия — Фельзенба-

херс. Играют эту пару замечательные еврейские актеры (как они согласились играть такую неблагоприятную роль!). Русскоязычность отца подчеркивается большим крестом, который он носит. Чем они занимаются? Конечно, делами, более чем неблагоприятными.

Папа содержит казино, где правдами и неправдами опустошает кошельки латышей, особенно склонных к алкоголю. Вплоть до того, что те лишаются своих заводов, земельных участков, переходящих к не знающему предела своей алчности русско-язычному. На него работают адвокаты, нотариусы, его пособники избивают неудобных людей или убивают их. Для дочери нет ничего святого. Плевое дело устроить подлог, разрушивший счастье единственных положительных героев сериала. Каждая мелочь, которая ей кажется не особенно приятной, вызывает неумолимую истерику... Но главное — «речевая политика» отца и дочери. Между собой они говорят на правильном литературном русском языке без каких-либо там намеков на одесситский стиль или что-то тому подобное. Оба в совершенстве владеют латышским литературным языком, который используется в коммуникациях с латышами. Но используют его по-разному. Отец, если он в хорошем настроении, спокоен, латышская его речь спокойна и размерена, стилистически безупречна. Стоит ему только заволноваться, тут же моментально переходит на русскую речь, с кем бы ни говорил.

У дочери же речь единообразна, спокойна ли она или чем-то расстроена. В ее речи всегда, даже когда она говорит с человеком, русского языка не знающим, систематически чередуются русские и латышские слова, иногда повторяя уже высказанное, а иногда нет. Этим способом актриса добивается дополнительного комизма речи, о чем бы она ни говорила.

Таким образом, миф о русских в латышской литературе складывался долгие десятилетия формирования и развития латышской литературы. Миф отражает представления, накопившиеся после долгой истории XX столетия — с ее революциями, войнами, переворотами. Наиболее существенно в обращении к мифу, закрепленному в литературе, то, что несмотря на идеологические веяния, захватывающие и латышских писателей, литература вполне содержательно раскрывает жизнь в Латвии с конца XIX по XXI век, показывая сложные взаимоотношения латышского и русского народов.